

Г. КНАБЕ**Об Аверинцеве**

Я познакомился с Сергеем Сергеевичем Аверинцевым в конце 1950-х годов в ту знаменательную эпоху, которую у нас часто принято называть “Хрущевской оттепелью” и значение которой выходит далеко за пределы этого наименования. Значение это было в первую очередь связано с открытием (или, как полагали устроители, с приоткрытием) дверей — в христианское религиозное прошлое, на просторы мировой культуры, в напряженную духовную жизнь современного Запада. Тем, другим и третьим Аверинцев жил начиная с отроческих лет, и первое, сделанное им теперь, состояло в том, чтобы войти в эти двери, внося туда знания, книги, имена, мысли, в предыдущие сорок лет запрещенные. Первый его доклад, который мне довелось тогда от него услышать, был посвящен Шпенглеру, первая прочитанная статья — одному из западных отцов церкви. Известность, которую он тогда сразу приобрел в московских интеллигентских и научных кругах, так и формулировалась: “Сережа Аверинцев? Разве вы не знаете? Это — тот юноша, который по философии и христианству читал всё, чего никто не читал”.

За одну из первых своих публикаций он получил премию ЦК комсомола, за некоторые выступления последних лет — признание Ватикана. Это очень важно: он никогда не жил и не думал на общественно-политической и хроникально-повседневной поверхности жизни, он жил и думал на глубинном горизонте времени — на горизонте культуры.

Это требует пояснения. “Культура, — сказал некогда Лотман, — это попытка выразить невыразимое”. *Выразить* — то есть сделать внятными, доступными всем слышащим, значит, сделать рационально воспринимаемым, логичным, структурированным. Но выразить *невыразимое* — то есть доподлинно мое, сохраненное в дословесной глубине моего духа и потому текучее, изменчивое, окрашенное эмоцией и подсознанием, вырывающееся за пределы рациональности, внятной логики и структуры. Аверинцев нес в себе оба эти импульса и потому был уникальным и подлинным человеком культуры.

В “Поэтике ранневизантийской литературы” есть глава, названная “Унижение и достоинство человека”. “Выявленное в Библии восприятие человека, — говорится там, — ничуть не менее телесно, чем античное, но только для него тело — не осанка, а боль, не жест, а трепет, не объемная пластика мускулов, а уязвляемые потаенности недр. Это тело не созерцаемо извне, но восчувствовано изнутри, и его образ слагается не из впечатлений глаза, а из вибраций человеческого “нутра””.

За пятидесятыми годами наступали шестидесятые. Их главное открытие состояло в остром ощущении отчуждения господствовавшей культуры и насущной, всеобщей необходимости это отчуждение преодолеть. Такое решение обрело резкую и категорическую форму несколькими десятилетиями позже в “Гарвардских лекциях 1992” Умберто Эко. Из них следовало, что все оформленное, структурированное, общезначимое и потому нормативное, закрепленное в традиции и потому выходящее за рамки “здесь”, “сейчас” и “я” — риторично. Риторично — внятное, значит, не мое. Только неправильное и сиюминутное, только непосредственное и пробормотанное не риторичны и только в силу этого человечны, ибо ускользнули от отчуждения, от вторичности, а значит — от лжи, которая заключена в культуре.

В России проблема была осознана Аверинцевым одним из первых и некоторыми

учеными, ему близкими, особенно — покойным А. В. Михайловым. Люди своего времени, они заговорили о культуре “готового слова” и потому — приспособленного лишь для “системной концепции культуры, выработанной античностью и унаследованной рядом последующих эпох”. В этой связи риторики в означенном выше смысле с античностью — суть самого явления в его двойственности и суть мысли Аверинцева, эту двойственность раскрывающего. С одной стороны — “единство сознательного отношения к творчеству, воплощенного в теоретической рефлексии, и ориентация на стабильные правила, опять-таки теоретически кодифицированные, — самая суть риторики”. С другой стороны, Тютчев сказал, что мысль изреченная есть ложь; в основе риторики лежит максима, которую можно сформулировать, вывернув наизнанку тютчевскую максиму, — *мысль изреченная есть истина*. Не только в том смысле, что для ратора совершенство выражения и соответствие правилам есть гарантия истины независимо от ее содержания, но и в том смысле, что истина по природе своей выходит за пределы внутренне личного, потому предполагает внятность и убедительность, а значит — совершенство выражения.

Статья, из которой заимствованы приведенные цитаты, называется “Античная риторика и судьбы античного рационализма”. Она заканчивается абзацем, где звучит забота о преодолении выше обозначенных подходов “с одной стороны” и “с другой стороны”: “О будущем культурном синтезе, когда мы, не возвращаясь к риторическому прошлому, сумели бы полноценно, с выходами в практику, оценить его здоровые резоны, пока можно только гадать”.

Гадать пришлось недолго. Приведенный выше приговор риторике, произнесенный Умберто Эко, был полностью принят цивилизацией 1980–1990-х. “Здоровые резоны риторики”, заключенные в признании объективной истины и в стремлении и в способности риторики эту истину выразить, найдя для нее общевнятную и эстетически убедительную форму, были окончательно признаны *démodés* и отодвинуты в антикварное прошлое. Но беда (или, вернее, счастье) только в том, что пока люди остаются людьми, а человечество человечеством, истина и ее способность воплотиться, сделаться конкретной и внятной, *обрести форму* не могут стать ни *démodés*, ни антикварным прошлым. Отсюда и становится устойчивый интерес Сергея Сергеевича Аверинцева на протяжении последнего периода творчества к Аристотелю. Здесь не место раскрывать эту тему в том объеме, которого она заслуживает. Напомним только два рассуждения, как представляется, ключевых, о бытии как обретении формы и о форме как индивидуализованно несовершенной, но индивидуализованно конкретной, а потому и автономной субстанции истины. За первым стоит коренная для России и православия проблема воплощения божества, за вторым — столь же коренная для Запада проблема правовой и этической автономии личности.

“Когда нечто благодаря тому, что оно имеет начало в самом себе, оказывается способным перейти в действительность, оно уже таково в возможности”. Это Аристотель (Метафизика: IX, 7, 1049а). “Столь характерную для православия доктрину исихазма Григорий Палама заимствует у Аристотеля”, ибо к учению Аристотеля об энтелехии восходит “та пара терминов “усия” и “энергейя”, при посредстве которых он решает проблему соотношения между трансцендентностью и имманентностью божества”. Это Аверинцев (“Христианский аристотелизм и проблемы современной России”. 1991).

И так же у Аристотеля: “Формой я называю суть бытия каждой вещи и ее первую сущность” (Метафизика: VII, 8, 1032в); “Форма и вещь составляют одно” (Метафизика: XII, 10, 1075в). И так же у Аверинцева: “Принцип католической традиции требует, чтобы ради ограждения одного личного существования от другого субъекты воли были, подобно физическим телам, разведены в моральном пространстве, где их отношения

регулируются двуединой формой учтивости и контракта, не допускающей, вполне по Аристотелю, ни эксцессов суровости, ни эксцессов ласковости” (“Христианский аристотелизм и проблемы современной России”).

Повторим то, с чего мы начали: он никогда не жил и не думал на общественно-политической (и конфессиональной), на хроникально-повседневной поверхности жизни, он жил и думал на глубинном горизонте времени — на горизонте культуры и ее судеб.

© 2001 Журнальный зал в РЖ, "Русский журнал" | Адрес для писем: zhz@russ.ru
По всем вопросам обращаться к [Татьяне Тихоновой](#) и [Сергею Костырко](#) | [О проекте](#)